Рассказ отца Алексея

Тургенев И. С.

- Вступление
- Рассказ

Вступление

... Лет двадцать тому назад мне пришлось объехать — в качестве частного ревизора — все, довольно многочисленные, имения моей тетки. Приходские священники, с которыми я считал своей обязанностью познакомиться, оказывались личностями довольно однообразными и как бы на одну мерку сшитыми; наконец, чуть ли не в последнем из обозренных мною имений, я наткнулся на священника, не похожего на своих собратьев. Это был человек весьма старый, почти дряхлый; и если бы не усиленные просьбы прихожан, которые его любили и уважали, он бы давно отпросился на покой. Меня поразили в отце Алексее (так звали священника) две особенности. Во-первых, он не только ничего не выпросил для себя, но прямо заявил, что ни в чем не нуждается, а во-вторых, я ни на каком человеческом лице не видывал более грустного, вполне безучастного, — как говорится, — «убитого» выражения. Черты этого лица были обыкновенные, деревенского типа: морщинистый лоб, маленькие серые глазки, крупный нос, бородка клином, кожа смуглая и загорелая... Но выражение!.. выражение!.. В тусклом взгляде едва — и то скорбно — теплилась жизнь; и голос был какой-то тоже неживой, тоже тусклый. Я занемог и пролежал несколько дней; отец Алексей заходил ко мне по вечерам — не беседовать, а играть в дурачки. Игра в карты, казалось, развлекала его еще больше, чем меня. Однажды, оставшись несколько раз сряду в дураках (чему отец Алексей порадовался немало), я завел речь о его прошлой жизни, о тех горестях, которые оставили на нем такой явный след. Отец Алексей сперва долго упирался, но кончил тем, что рассказал мне свою историю. Я ему, должно быть, чем-нибудь да полюбился; а то бы он не был со мною так откровенен.

Я постараюсь передать его рассказ его же словами. Отец Алексей говорил очень просто и толково, без всяких семинарских или провинциальных замашек и оборотов речи. Я не в первый раз заметил, что сильно поломанные и смирившиеся русские люди всех сословий и званий выражаются именно таким языком.

Рассказ

— … У меня была жена добрая и степенная, — так начал он, — я ее любил душевно и прижил с нею восемь человек детей; но почти все умерли в младых летах. Один мой сын вышел в архиереи — и скончался не так давно у себя в епархии; о другом сыне — Яковом его звали — я вот теперь расскажу вам. Отдал я его в семинарию, в город Т...; и скоро стал получать самые утешительные о нем известия: первым был учеником по всем предметам! Он и дома, в отрочестве, отличался прилежанием и скромностью; бывало, день пройдет — и не услышишь его... всё с книжкой сидит да читает. Никогда он нам с попадьей не причинил неприятности самомалейшей; смиренник был. Только иногда задумывался не по летам и здоровьем был слабенек. Раз с ним чудное нечто произошло. Десять лет ему тогда минуло. Отлучился он из дому — под самый Петров день — на зорьке, да почти целое утро пропадал. Наконец воротился. Мы с женой спрашиваем его: «Где был?» — «В лес, говорит, гулять ходил — да встретил там некоего зеленого старичка, который со мною много разговаривал и такие мне вкусные орешки дал!» — «Какой такой зеленый старичок?» — спрашиваем мы. «Не знаю, говорит, никогда его доселе не видывал. Маленький старичок, с горбиною, ножками всё семенит и посмеивается — и весь, как лист, зеленый». — «Как, — говорим мы, — и лицо зеленое?» — «И лицо, и волосы, и самые даже глаза». Никогда наш сын не лгал; но тут мы с женой усомнились. «Ты, чай, заснул в лесу, на припеке, да и видел старичка того во сне». — «Не спал я, говорит, николи́; да что, говорит, вы не верите? — Вот у меня в кармане и орешек один остался». Вынул Яков из кармана тот орешек, показывает нам... Ядрышко небольшое вроде каштанчика, словно шероховатое; на наши обыкновенные орехи не похоже. Я его спрятал, хотел было доктору показать... да запропастилось оно... не нашел потом.

Ну-с, отдали мы его в семинарию — и, как я вам уже докладывал, веселил он нас своими успехами! Так мы с супругой и полагали, что выйдет из него человек! На побывку домой придет — любо на него глядеть: такой благообразный, озорства за ним никакого; всем-то он нравится, все нас поздравляют. Только всё телом худенек — и в лице настоящей краски нет. Вот уже девятнадцатый год ему наступил — скоро ученью конец! И получаем мы тут вдруг от него письмо. Пишет он нам:

«Батюшка и матушка, не прогневайтесь на меня, разрешите мне идти по-светскому; не лежит сердце мое к духовному званию, ужасаюсь я ответственности, боюсь греха — сомнения во мне возродились! Без вашего родительского разрешения и благословения ни на что не отважусь — но скажу вам одно: боюсь я самого себя, ибо много размышлять начал».

Доложу я вам, милостивый государь: опечалился я гораздо от этого письма — словно рогатиной мне против сердца толкнуло — потому, вижу: не будет мне на моем месте преемника! Старший сын — монах; а этот вовсе из своего звания выступить желает. Горько мне еще потому: в нашем приходе близко двухсот годов всё из нашей семьи священники

живали! Однако думаю: нечего против рожна переть; знать, уж такое ему предопределение вышло. Что уж за пастырь, коли сомнение в себе допустил! Посоветовался я с женою — и написал ему в таком смысле:

«Сын мой, Яков, одумайся хорошенько — десять раз примерь, один раз отрежь — трудности на светской службе пребывают великие, холод да голод, да к нашему сословию пренебрежение! И знай ты наперед: никто руку помощи тебе не подаст; не пеняй потом, смотри! Желание мое, ты сам знаешь, всегда было такое, чтобы ты меня заменил; но ежели ты точно в своем призвании усомнился и пошатнулся в вере — то и удерживать тебя мне не приходится. Буди воля господня! Мы с матерью твоею в благословении тебе не отказываем».

Отвечал мне Яков благодарственным письмом. «Обрадовал ты меня, мол, батюшка; есть мое намерение посвятить себя ученому званию — и протекция у меня есть; поступлю в университет, буду доктором; потому — к науке большую склонность чувствую».

Прочел я Яшино письмо и пуще опечалился; а поделиться горем скоро стало не с кем: старуха моя о ту пору простудилась сильно и скончалась — от этой ли самой простуды, или господь ее, любя, прибрал — неизвестно. Запла́чу, запла́чу я, бывало, вдовец одинокий — а что поделаешь? Так тому, знать, и быть. И рад бы в землю уйти... да тверда она... не расступается. А сам сына поджидаю; потому — он известил меня: «Прежде, мол, чем в Москву поеду, домой наведаюсь». И точно: приехал он в родительский дом — но только пожил в нем недолго. Словно что его торопило: так бы, кажись, на крылах полетел в Москву, в университет свой любезный! Стал я расспрашивать его о сомнениях — какая, дескать, причина? — но и разговоров больших от него не услышал: одна мысль затесалась в голову — и полно! Ближним, говорит, хочу помогать. Ну-с, поехал он от меня — почитай, что ни гроша с собой не взял, только малость из платья. Уж очень он на себя надеялся! И не попусту. Экзамен выдержал отлично, в студенты поступил, уроки по частным домам приобрел... Тверд он был в древних-то языках! И как вы полагаете? Мне же деньги высылать вздумал. Повеселел я маленько — конечно, не из-за денег — я их ему назад отослал и побранил его даже; а повеселел, потому что вижу: путь в малом будет. Только недолго длилось мое веселье!

Приехал он на первые вакации... И что за чудо! Не узнаю я моего Якова! Скучный такой стал, угрюмый — слова от него не добьешься. И в лице переменился: почитай, на десять лет постарел. Он и прежде застенчив был, что и говорить! Чуть что — сейчас заробеет и закраснеется весь, как девица... Но поднимет он глаза — так ты и видишь, что светлехонько у него на душе! А теперь не то. Не робеет он — а дичится, словно волк, и глядит всё исподлобья. Ни тебе улыбки, ни тебе привета — как есть камень! Примусь я его расспрашивать — либо молчит, либо огрызается. Стал я думать: уж не запил ли он — сохрани бог! либо к картам пристрастья не получил ли? или вот еще насчет женской слабости не приключилось ли что? В юные лета присухи действуют сильно — ну, да в таком большом городе, как Москва, не без худых примеров и оказий! Однако нет: ничего подобного не видать. Питье его — квас да вода; на женский пол не взирает — да и вообще с людьми не знается. И что мне было горше всего: нету в нем прежнего доверья ко мне — равнодушие какое-то проявилось: точно ему всё свое опостылело. Заведу я беседу о науках,

об университете — и тут настоящего ответа добиться не могу. В церковь он, однако, ходил, но тоже не без странности: везде-то он суров да хмур — а тут, в церкви-то, всё словно ухмыляется. Пожил он у меня таким манером недель с шесть — да опять в Москву! Из Москвы написал мне раза два — и показалось мне из его писем, будто он опять приходит в чувство. Но представьте вы себе мое удивление, милостивый государь! Вдруг в самый развал зимы, перед святками — является он ко мне! Каким манером? Как? Что? Знаю я, что об эту пору вакаций нет. «Ты из Москвы?» — спрашиваю я. — «Из Москвы». — «А как же... Университет-то?» — «Университет я бросил». — «Бросил?» — «Точно так». — «Навсегда?» — «Навсегда». — «Да ты, Яков, болен, что ли?» — «Нет, говорит, батюшка, я не болен; а только вы, батюшка, меня не тревожьте и не расспрашивайте; а то я отсюда уйду — только вы меня и видали». Говорит мне Яков: не болен — а у самого лицо такое, что я даже ужаснулся! Страшное, темное, не человеческое словно! Щеки этта подтянуло, скулы выпятились, кости да кожа, голос как из бочки... а глаза... Господи владыко! Что это за глаза? Грозные, дикие, всё по сторонам мечутся — и поймать их нельзя; брови сдвинуты, губы тоже как-то набок скрючены... Что сталось с моим Иосифом прекрасным, с тихоней моим? Ума не приложу. «Уж не рехнулся ли он?» — думаю я так-то. Скитается, как привидение, по ночам не спит, а то вдруг возьмет да уставится в угол и словно весь окоченеет... Жутко таково! Хоть он и грозил мне, что уйдет из дому, если я его в покое не оставлю, но ведь я отец! Последняя моя надежда разрушается — а я молчи? Вот однажды, улуча время, стал я слезно молить Якова, памятью покойницы его матери заклинать его стал: «Скажи, мол, мне, как отцу по плоти и по духу, Яша, что с тобою? Не убивай ты меня — объяснись, облегчи свое сердце! Уж не загубил ли ты какую христианскую душу? Так покайся!» — «Ну, батюшка, — говорит он мне вдруг (а дело-то пришлось к ночи), — разжалобил ты меня; скажу я тебе всю правду! Души я никакой не загубил — а моя собственная душа пропадает». — «Каким это образом?» — «А вот как... — И тут Яков впервое на меня глаза поднял... — Вот уже четвертый месяц», — начал он... Но вдруг у него речь оборвалась — и тяжело дышать он стал. «Что такое четвертый месяц? Сказывай, не томи!» — «Четвертый месяц, как я его вижу». — «Его? Кого его?» — «Да того... чтó к ночи называть неудобно». Я так и похолодел весь и затрясся. «Как?! — говорю, — ты его видишь?» — «Да». — «И теперь видишь?» — «Да». — «Где?» А сам я и обернуться не смею — и говорим мы оба шёпотом. «А вон где... — И глазами мне указывает... — вон, в углу». Я таки осмелился... глянул в угол: ничего там нету! «Да там ничего нет, Яков, помилуй!» — «Ты не видишь — а я вижу». Я опять глянул... опять ничего. Вспомнился мне вдруг старичок в лесу, что каштанчик ему подарил. «Какой он из себя? — говорю... — зеленый?» — «Нет, не зеленый, а черный». — «С рогами?» — «Нет, он как человек — только весь черный». Яков сам говорит, а у самого зубы оскалились — и побледнел он, как мертвец, и жмется он ко мне со страху; а глаза словно выскочить хотят — и глядит он всё в угол. «Да это тень тебе мерещится, — говорю я, — это чернота от тени, а ты ее за человека принимаешь». — «Как бы не так! Я и глаза его вижу: вон он ворочает белками, вон руку поднимает, зовет». — «Яков, Яков, ты бы попробовал, помолился: наваждение это бы рассеялось. Да воскреснет бог и расточатся врази его!» — «Пробовал, говорит, да ничего не действует». — «Постой, постой, Яков, не малодушествуй; я ладаном покурю, молитву почитаю, святой водой кругом тебя окроплю». Яков только рукой махнул. «Ни в ладан я твой не верю, ни в воду святую; не помогают они ни на грош. Мне с ним теперь уж не расстаться. Как пришел он ко мне нынешним летом в один проклятый день — так с тех пор уж он мой гость неизменный, и выжить его нельзя. Ты это знай, отец, и больше моему поведению не дивись — и меня не

мучь». — «В какой же это день пришел он к тебе? — спрашиваю я его, а сам всё его крещу. — Уж не тогда ли, когда ты о сомнении писал?» Яков отвел мою руку. «Оставь ты меня, говорит, батюшка, не вводи ты меня в досаду, чтобы хуже чего не было. Мне ведь на себя и руку наложить недолго». Можете себе представить, милостивый государь, каково мне было это слушать!.. Помнится, я всю ночь проплакал. «Чем, думаю, заслужил я такой гнев господень?»

Тут отец Алексей достал из кармана клетчатый носовой платок и стал сморкаться — да, кстати, утер украдкой глаза.

— Худое пошло тогда наше житье! — продолжал он. — Уж я только об одном и думаю: как бы он не сбег или, сохрани господи, в самом деле над собою какого зла не учинил! Караулю я его на каждом шагу — а в разговор и вступать-то боюсь. И проживала в ту пору вблизи нас соседка, полковница, вдова, — Марфой Савишной ее звали; большое я к ней уважение питал — потому женщина рассудительная и тихая, даром, что молодая и собой пригожая; хаживал я к ней часто — и она моим званием не гнушалась. С горя да с тоски, не зная, что уж и придумать, я возьми да всё ей и расскажи. Сперва она очень ужаснулась и даже всполошилась вся; а потом раздумье на нее нашло. Долго она изволила сидеть этак молча; а потом пожелала сына моего видеть и побеседовать с ним. И почувствовал я тут, что беспременно мне следует исполнить ее волю; ибо не женское любопытство в этом случае действует, а нечто иное. Вернувшись домой, стал я убеждать Якова: «Поди, мол, со мною к госпоже полковнице». Так он и руками и ногами! «Не пойду, говорит, ни за что! О чем я с ней буду беседовать!» Даже кричать на меня стал. Однако я, наконец, уломал его — и, запрягши саночки, повез его к Марфе Савишне, да, по уговору, оставил его с нею наедине. Самому мне удивительно, как это он скоро согласился? Ну, ничего, — посмотрим. Часа через три или четыре возвращается мой Яков. «Ну, — спрашиваю я, — как тебе соседка наша понравилась?» Ничего он мне не отвечает. Я опять его пытать. «Добродетельная, говорю, дама... Обласкала, чай, тебя?» — «Да, говорит, она не как прочие». Вижу я, он как будто помягче стал. И решился я тут его спросить... «А наваждение, говорю, как?» Глянул Яков на меня, как кнутом стеганул, — и опять ничего не промолвил. Не стал я его больше тревожить, убрался из комнаты вон; а час спустя подошел я к двери, посмотрел сквозь замочную скважину... И что же вы думаете? — спит мой Яков! Лег на постельку и спит. Перекрестился я тут несколько раз кряду. Пошли, мол, господь, всякой благодати Марфе Савишне! Видно, сумела, голубушка, ожесточенное его сердце тронуть!

На следующий день, смотрю, берет Яков шапку... Думаю — спросить его: куда, мол, идешь? — да нет, лучше не спрашивать... наверное к ней!.. И точно — к ней, к Марфе Савишне отправился Яков и еще дольше прежнего у ней просидел; а на следующий день — опять! А там через день — опять! Начал я воскресать духом; потому вижу: происходит в сыне перемена, — и лицо у него другое стало — и в глаза ему глядеть стало возможно: не отворачивается. Унылость всё в нем та же, да отчаянности прежней, ужаса прежнего нет. Но не успел я ободриться маленько, как опять всё разом оборвалось! Опять одичал Яков, опять приступиться к нему нельзя. Сидит, запершись, в каморке — и полно ходить к полковнице! «Неужто, думаю, он ее чем-нибудь обидел — и она ему от дому отказала? Да нет, думаю... он хоть и несчастный, но на это не отважится; да и она не такая!» Не вытерпел я, наконец, — спрашиваю я у него: «А что, Яков, — соседка наша... Ты, кажется, ее

совсем позабыл?» А он как гаркнет на меня: «Соседка? Или ты хочешь, чтобы он смеялся надо мною?» — «Как?» — говорю. Так он тут даже кулаки стиснул... освирепел вовсе! «Да! — говорит, — прежде он только так торчал, а теперь смеяться начал, зубы скалит! — Прочь! уйди!» Кому он эти слова обращал — я уж и не знаю; едва ноги меня вынесли — до того я перепугался. Вы только представьте: лицо, как медь красная, пена у рта, голос хриплый, словно кто его давит!.. И поехал я — сирота-сиротою — в тот же день к Марфе Савишне... В большой ее застал печали. Даже в теле она изменилась: похудел лик. Но разговаривать со мной о сыне она не захотела. Только одно сказала: что никакая тут людская помощь действительна быть не может; молитесь, мол, батюшка! А там вынесла мне сто рублей. «Для бедных и больных вашего прихода», говорит. И опять повторила: «Молитесь!» Господи! как будто я и без того не молился — денно и нощно!

Отец Алексей тут снова достал платок и снова утер свои слезы — но уж не украдкой на этот раз — и, отдохнув немного, продолжал свою невеселую повесть.

— Покатились мы тут с Яковом, словно снежный ком под гору, и видать нам обоим, что под горою пропасть — а как удержаться — и что предпринять? И скрыть это не было никакой возможности: по всему приходу пошло смущение великое, что вот-де у священника сын оказывается бесноватым — и что следует-де начальство обо всем этом известить. И известили бы непременно, да прихожане мои — спасибо им! — меня жалели. Тем временем зима миновала — и наступила весна. И такую весну послал бог — красную да светлую, какой даже старые люди не запоминали: солнышко целый день, безветрие, теплынь! И пришла мне тут благая мысль: уговорить Якова сходить со мною на поклонение к Митрофанию, в Воронеж! «Коли, думаю, и это последнее средство не поможет, — ну, тогда одна надежда: могила!»

Вот сижу я однажды, перед вечерком, на крылечке — а зорька разгорается на небе, жаворонки поют, яблони в цвету, муравка зеленеет... сижу и думаю, как бы сообщить мое намерение Якову? Вдруг, смотрю, выходит он на крыльцо; постоял, поглядел, вздохнул и прикорнул на ступеньке со мною рядышком. Я даже испугался на радости — но только молчок. А он сидит, смотрит на зарю — и тоже ни слова! И показалось мне, словно умиление на него нашло: морщины на лбу разгладились, глаза даже посветлели... еще бы, кажется, немножко — и слеза бы прошибла! Усмотревши таковую в нем перемену, я — виноват! — осмелился. «Яков, — говорю я ему, — выслушай ты меня без гнева...» Да и рассказал ему о моем намерении: как нам вдвоем к Митрофанию пойти — пешечком; а от нас до Воронежа верст полтораста будет; и как оно приятно будет — вдвоем, весенним холодочком, до зорьки поднявшись, — идти да идти по зеленой травке, по большой дороге; и как, если мы хорошенько припадем да помолимся у раки святого угодника, быть может, — кто знает? господь бог над нами и смилуется — и получит он исцеление, чему уже многие бывали примеры! И представьте вы, милостивый государь, мое счастье! «Хорошо, — говорит Яков, — а сам не оборачивается, всё в небо смотрит, — я согласен. Пойдем». Я так и обомлел... «Друг, говорю, голубчик, благодетель!...» А он у меня спрашивает: «Когда же мы отправимся?» — «Да хоть завтра», говорю.

Так на другой день мы и отправились. Надели котомочки, взяли посохи в руки — и пошли. Целых семь дней мы шли, и всё время нам погода благоприятствовала — даже

удивительно! Ни зноя, ни дождя; муха не кусает, пыль не зудит. И с каждым днем Яков мой всё в лучший вид приходит. Надо вам сказать, что на вольном воздухе Яков и прежде — того-то не видал, но чувствовал его за собою, за самой спиною; а не то тень его сбоку как будто скользила, что очень моего сына мутило. А в этот раз ничего такого не происходило; и на постоялых дворах, где нам ночевать приходилось, тоже ничего не являлось. Мало мы с ним разговаривали... но уж как нам хорошо было — особенно мне! Вижу я: воскресает мой бедняк. Не могу я вам описать, милостивый государь, что я тогда чувствовал. Ну, добрались мы наконец до Воронежа. Пообчистились, пообмылись — и в собор, к угоднику! Целых три дня почти что не выходили из храма. Сколько молебнов отслужили, свечей сколько понаставили! И всё ладно, всё прекрасно; дни — благочестивые, ночи — тихие; спит мой Яша, как младенец. Сам со мной затоваривать стал. Бывало, спросит: «Батюшка, ты ничего не видишь?» — а сам улыбается. «Не вижу, — говорю я, — ничего». — «Ну и я, говорит, не вижу». Чего еще требовать? Благодарность моя к угоднику — без границ.

Прошли три дня; и говорю я Якову: «Ну, теперь, сынок, всё дело поправилось; на нашей улице праздник. Остается одно: исповедайся ты, причастись; а там с богом восвояси — и, отдохнувши как следует да по хозяйству поработавши, для укрепления сил, можно будет похлопотать, место поискать или что. Марфа Савишна, говорю, наверное в этом нам поможет». — «Нет, — говорит Яков, — зачем мы ее будем беспокоить; а вот я ей колечко с Митрофаниевой ручки принесу». Я тут совсем раскуражился: «Смотри, говорю, бери серебряное, а не золотое — не обручальное!» Покраснел мой Яков и только повторил, что не следует ее беспокоить, — а впрочем, тотчас на всё согласился. Пошли мы на следующий день в собор; исповедался мой Яков, и так перед тем молился усердно! — а там и к причастию приступил. Я стою так-то в сторонке — и земли под собою не чувствую... На небесах ангелам не слаще бывает! Только смотрю я: чтó это значит! Причастился мой Яков — а не идет испить теплоты! Стоит он ко мне спиною... Я к нему. «Яков, говорю, что же ты стоишь?» Как он обернется вдруг! Верите ли, я назад отскочил, до того испугался! Бывало, страшное было у него лицо, а теперь какое-то зверское, ужасное стало! Бледен как смерть, волосы дыбом, глаза перекосились... У меня от испуга даже голос пропал; хочу говорить, не могу — обмер я совсем... А он — как бросится вон из церкви! Я за ним... а он прямо на постоялый двор, где ночевка наша была, котомку на плечи — да и вон. «Куда? — кричу я ему, — Яков, что с тобой! Постой, погоди!» А Яков хоть бы слово мне в ответ, побежал как заяц — и догнать его нет никакой возможности! Так и скрылся. Я сейчас верть назад, телегу нанял, а сам весь трясусь и только и могу говорить, что «господи!» да «господи!» И ничего не понимаю: что это такое над нами стряслось? Пустился я домой — потому думаю: наверное он туда побежал. И точно. На шестой версте от города — вижу: шагает он по большаку. Я его догнал, соскочил с телеги да к нему. «Яша! Яша!» Остановился он, повернулся ко мне лицом, а глаза в землю упер и губы стиснул. И что я ему ни говорю — стоит он, как истукан какой, и только и видно, что дышит. А наконец — опять пошел вперед по дороге. Что было делать! Поплелся и я за ним...

Ах, какое же это было путешествие, милостивый государь! Сколь нам было радостно идти в Воронеж — столь ужасно было возвращение! Стану я ему говорить — так он даже зубами ляскает, этак через плечо, ни дать ни взять тигр или гиена! Как я тут ума не лишился — доселе не постигаю! И вот, наконец, однажды ночью — в крестьянской курной избе — сидел он на полатях, свесивши ноги да озираясь по сторонам, — пал я тут перед ним на коленки и

заплакал, и горьким взмолился моленьем: «Не убивай, дескать, старика отца окончательно, не дай ему в отчаянность впасть — скажи, что приключилось с тобою?» Вóззрелся он в меня — а то он словно и не видел, кто перед ним стоит, — и вдруг заговорил — да таким голосом, что он у меня до сих пор в ушах отдается. «Слушай, говорит, батька. Хочешь ты знать всю правду? Так вот она тебе. Когда, ты помнишь, я причастился — и частицу еще во рту держал, — вдруг он (в церкви-то это, белым-то днем!) встал передо мною, словно из земли выскочил, и шепчет он мне (а прежде никогда ничего не говаривал)... — шепчет: выплюнь да разотри! Я так и сделал: выплюнул — и ногой растер. И стало быть, я теперь навсегда пропащий — потому что всякое преступление отпускается, но только не преступление против святого духа...»

И, сказав эти ужасные слова, сын мой повалился на полати, — а я опустился на избяной пол... Ноги у меня подкосились...

Отец Алексей умолк на мгновенье — и закрыл глаза рукою.

— Однако, — продолжал он, — что же я буду дольше томить вас, да и самого себя! Дотащились мы с сыном до дому, а тут скоро и конец его настал — и лишился я моего Якова! Перед смертью он несколько дней не пил, не ел — всё по комнате взад и вперед бегал да твердил, что греху его не может быть отпущения... но его уж он больше не видел. Погубил он, дескать, мою душу; теперь зачем же ему больше ходить? А как слег Яков, сейчас в беспамятство впал, и так, без покаяния, как бессмысленный червь, отошел от сей жизни в вечную...

Но не хочу я верить, чтобы господь стал судить его своим строгим судом...

И, между прочим, я этому потому не хочу верить, что уж очень он хорош лежал в гробу: совсем словно помолодел и стал на прежнего похож Якова. Лицо такое тихое, чистое, волосы колечками завились — а на губах улыбка. Марфа Савишна приходила смотреть на него — и то же самое говорила. Она же его обставила всего цветами и на сердце ему цветы положила — и камень надгробный на свой счет поставила.

А я остался одиноким... И вот отчего, милостивый государь, вы изволили усмотреть на лице моем печаль великую... Не пройдет она никогда — да и не может пройти.

Хотел я сказать отцу Алексею слово утешения... но никакого слова не нашел.

Мы скоро потом расстались.

Париж, 1877 (опубл. 1877)